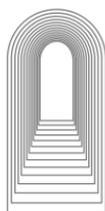


> МАГИСТРАЛЪ >

АНДРЕ ЖИД

Тесные врата
Фальшивомонетки



Москва
2024

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
Ж69

André Gide
La Porte étroite
Les Faux-Monnayeurs

Перевод с французского *Ярослава Богданова*,
Адриана Франковского

Художественное оформление серии
и иллюстрация *Натальи Портяной*

Жид, Андре.

Ж69 Тесные врата ; Фальшивомонетчики / Андре Жид ; [перевод с французского Я. Ю. Богданова, А. А. Франковского]. — Москва : Эксмо, 2024. — 640 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-199729-8

Французский писатель Андре Жид творил на протяжении 60 лет, став одним из виднейших авторов и мыслителей своей страны.

«Тесные врата» — проникнутая чеховским лиризмом повесть о первой любви, которую критики считают самым совершенным из его сочинений. Жером и Алиса, кузены, влюблены друг в друга. Но благочестивая девушка отказывается от предосудительного чувства в пользу нравственности.

Роман «Фальшивомонетчики» признан новаторским по форме и скандальным по содержанию. Это одновременно и многосюжетная панорама французской жизни после Первой мировой войны, и подведение итогов нравственных, интеллектуальных и эстетических поисков автора, и зеркальное отражение истории создания самого романа.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

© Богданов Я.Ю.,
перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-199729-8

Тесные врата

Подвизайтесь войти сквозь тесные врата.

Лука, 13, 24

I

Той истории, которую я собираюсь рассказать, иному достало бы на целую книгу; мои же силы все ушли на то, чтобы прожить ее, и теперь я опустошен совершенно. Так что я лишь бесхитростно запишу свои воспоминания, и, если местами в них будут прорехи, я не стану латать их или заделывать, присочиняя то, чего не было; усилия, необходимые для такой отделки, лишили бы меня последней отрады, какую, надеюсь, принесет мне повествование.

Мне не было еще и двенадцати лет, когда я потерял отца. Моя мать, которую ничто более не удерживало в Гавре, где отец как врач имел практику, решила перебраться в Париж в надежде, что там я лучше закончу свое образование. Она сняла поблизости от Люксембургского сада небольшую квартиру. В ней вместе с нами поселилась и мисс Флора Эшбертон, у которой не осталось никакой родни и которая, будучи поначалу домашней воспитательницей моей матери, стала впоследствии ее ближайшей подругой. Я рос в окружении этих двух женщин, всегда одинаково нежных и печальных

и никогда не снимавших траура. Как-то раз, уже, наверное, порядочно времени спустя после смерти отца, моя мать вышла утром в чепце, перевязанном не черной лентой, а сиреневой.

— Мамочка! — воскликнул я. — Как не идет тебе этот цвет!

На следующий день на ней вновь была черная лента.

Здоровьем я не отличался, и если, несмотря на вечные заботы и хлопоты матери и мисс Эшбертон, как убережь меня от переутомления, я все же не делался лентяем, то исключительно благодаря какому-то врожденному трудолюбию. Едва наступали первые погожие дни, обе женщины немедленно находили, что я очень бледный и меня как можно скорее надо увозить из города, к середине июня мы переезжали в Фонгезмар, в окрестностях Гавра, где жили все лето в доме моего дяди Бюколена.

Окруженный, как это принято в Нормандии, садом, вполне заурядным, не слишком большим и не особенно красивым, белый двухэтажный дом Бюколенов похож на множество других сельских домов постройки XVIII века. Два десятка окон смотрят на восток, в сад; столько же — на противоположную сторону; по бокам окон нет. Рамы состоят из довольно мелких квадратов: в тех из них, что недавно заменены, стекла кажутся гораздо светлее старых, которые сразу точно потускнели и позеленели. К тому же в некоторых есть еще и так называемые «пузыри»; взглянешь сквозь него на дерево — оно все искривится, взглянешь на проходящего мимо почтальона — у него вдруг вырастает горб.

Сад имеет форму прямоугольника и окружен стеной. Через него к дому, огибая просторную затененную лужайку, ведет дорожка из песка и гравия. Стена здесь не такая высокая, и за ней виден хозяйственный двор, который со стороны дома прикрыт садом, а снаружи, как принято в здешних местах, обрамлен двумя рядами буковых деревьев.

Позади усадьбы, с западной стороны, сад разрастается свободнее. По нему вдоль шпалер, обращенных на юг и обвитых яркими цветами, проходит аллея, укрытая от морских ветров несколькими деревьями и стеной густого кустарника, португальского лавра. Другая аллея, идущая вдоль северной стены, теряется в гуще ветвей. Мои кузины всегда называли ее «темной аллеей» и с наступлением сумерек не отваживались заходить в нее слишком глубоко. Обе эти аллеи в конце несколькими уступами спускаются к огороду, который как бы продолжает сад. Отсюда через маленькую потайную дверь в стене попадаешь в молодой лесок, где смыкаются подходящие справа и слева двойные ряды буковых деревьев. Если взглянуть с заднего крыльца дома, то за леском открывается чудесный вид на широкое поле со жнивьем. А еще чуть дальше, на горизонте, — деревенская церквушка да вечером, когда все затихает, кое-где струйки дыма над крышами.

Погожими летними вечерами мы спускались в «нижний сад», выходили через потайную дверку и шли к скамейке под буками, откуда тоже было видно довольно далеко; там, возле соломенного навеса, оставшегося от брошенной мергельной разработки, дядя, мать и мисс Эшбертон усаживались;

неширокая долина перед нами наполнялась туманом, а вдаль над лесом золотело небо. Обратного пути не спешили, темным уже садом. Возвратившись в дом, мы встречались в гостиной с тетей, которая почти никогда не принимала участия в наших прогулках... На этом для нас, детей, вечер заканчивался; однако очень часто мы допоздна читали в своих комнатах, пока не слышались шаги взрослых, поднимающихся по лестнице.

Кроме сада, местом, где мы проводили большую часть времени, была «классная» — дядин кабинет, куда поставили несколько школьных парт. Я сидел за одной партой с кузенком Робером, сзади нас садились Жюльетта и Алиса. Алиса была на два года старше, а Жюльетта на год моложе меня. Робер из нас четверых был самым младшим.

Писать воспоминания о своем детстве я не намерен и расскажу лишь о том, что имеет отношение к этой истории. А началась она, могу сказать совершенно определенно, в год смерти отца. Горе, постигшее нас, и глубокая печаль матери, даже в большей степени, нежели моя собственная, обострили мою природную чувствительность и, вероятно, предрасположили меня к новым переживаниям: я возмужал прежде времени; поэтому, когда тем летом мы вновь приехали в Фонгезмар, Жюльетта и Робер показались мне совсем еще маленькими, однако, увидев Алису, я внезапно понял, что и она, так же как и я, перестала быть ребенком.

Да, это было именно в год смерти отца; я не могу ошибиться, потому что хорошо помню один разговор матери и мисс Эшбертон, сразу после нашего

приезда. Они оживленно беседовали, когда я внезапно вошел в комнату; речь шла о моей тете: моя мать была возмущена тем, что она то ли вовсе не носила траура, то ли слишком рано сняла его. (По правде сказать, мне одинаково невозможно вообразить как тетю Бюколен в черном, так и мою мать в светлом платье.) В день нашего приезда, сколько мне помнится, на Люсиль Бюколен было платье из муслина. Мисс Эшбертон, которая всегда стремилась ко всеобщему согласию, пытаюсь успокоить мою мать, осторожно заметила:

— Но ведь белый цвет тоже может быть знаком скорби...

— Это пунцовая-то шаль у нее на плечах — «знак скорби»? Да как вы могли сказать мне такое, Флора!

Я видел тетю только в летние месяцы, во время каникул, и вполне понятно, что из-за постоянной жары она и носила все эти очень открытые легкие платья; как раз глубокие вырезы и раздражали мою мать, даже гораздо больше, чем разные яркие накидки на тетиных обнаженных плечах.

Люсиль Бюколен была очень красива. На сохранившемся у меня маленьком портрете она изображена такой, какой была в ту пору, и лицо ее настолько юно, что ее можно принять за старшую сестру ее собственных дочерей, рядом с которыми она сидит в обычной своей позе: голова слегка опирается на левую руку, мизинец которой жеманно отогнут и касается губ. Густые, слегка волнистые волосы подвернуты и схвачены на затылке крупной сеткой; в полукруглом вырезе корсажа — медальон из итальянской мозаики на свободной черной бар-

хотке. Поясок, тоже из черного бархата, завязанный большим бантом, широкополая шляпа из тонкой соломки, которую она повесила за ленту на спинку стула, — все это еще больше делает ее похожей на девочку. В правой руке, опущенной вдоль тела, она держит закрытую книгу.

Люсиль Бюколен была креолкой; своих родителей она не знала совсем или потеряла очень рано. Позднее я узнал от матери, что родители то ли бросили ее, то ли умерли, и ее взяли к себе пастор Вотье с женой, у которых детей не было и которые вскоре после того вместе с девочкой уехали с Мартиники и поселились в Гавре, где уже жила семья Бюколен. Вотье и Бюколены сблизилась; дядя мой был в ту пору за границей, служащим в каком-то банке, и лишь спустя три года, вернувшись домой, впервые увидел маленькую Люсиль; он влюбился в нее и немедленно попросил руки, к великому огорчению своих родителей и моей матери. Люсиль было тогда шестнадцать лет, и к тому времени г-жа Вотье родила уже двоих детей; она начинала опасаться влияния на них приемной дочери, чей характер день ото дня все более удивлял их своей необычностью; кроме того, достатком семейство не отличалось... в общем, моя мать назвала мне достаточно причин, по которым Вотье с радостью восприняли предложение ее брата. Я склонен думать, ко всему прочему, что юная Люсиль грозила поставить их в ужасно неудобное положение. Я достаточно хорошо знаю гаврское общество и без труда могу себе представить, как там принимали эту прелестную девочку. Пастор Вотье, которого я узнал впослед-

ствии как человека мягкого, осторожного и вместе наивного, бессильного перед интригами и совершенно безоружного против сил зла, — тогда эта благородная душа, видимо, была затравлена совершенно. О г-же Вотье не могу сказать ничего; она умерла в родах, на четвертом ребенке, и тот мальчик, почти одних со мною лет, позднее стал моим другом...

Люсиль Бюколен почти не участвовала в общей нашей жизни; она спускалась из своей комнаты после полудня, когда все уже выходили из-за стола, тотчас же устраивалась где-нибудь на софе или в гамаке, лежала так до самого вечера, после чего поднималась в полном изнеможении. Бывало, несмотря на то что лоб у нее был абсолютно сухой, она прикладывала к нему платок, точно при испарине; платочек этот поражал меня своей необычайной тонкостью и запахом — каким-то не цветочным, а скорее даже фруктовым; иногда она брала в руки крошечное зеркальце со сдвигающейся серебряной крышечкой, висевшее у нее на поясе вместе с другими такими же вещицами на цепочке для часов; она долго разглядывала себя, потом, слегка поплюняв кончик пальца, что-то вытирала им в уголках глаз. Очень часто она держала книгу, хотя почти никогда ее не открывала; книга была заложена черепашковой закладкой. Когда вы подходили к ней, она вас не замечала, оставаясь погруженной в свои грезы. Нередко, по усталости или рассеянности, из ее рук, или с подлокотника софы, или из складок юбки что-то падало на пол — платочек ли, книга, какой-нибудь цветок или ленточка. Однажды — это

тоже воспоминание из детства — я поднял книгу и, увидев, что это стихи, густо покраснел.

По вечерам Люсиль Бюколен также не подходила к общему семейному столу, а садилась после ужина за фортепьяно и, словно любуясь собой, играла медленные мазурки Шопена; иногда, сбиваясь с такта, она вдруг застывала на каком-нибудь аккорде...

Рядом с тетей я испытывал какое-то тревожное волнение, в котором были и растерянность, и смутное восхищение, и трепет. Быть может, неведомый инстинкт предупреждал меня об опасности, исходившей от нее; вдобавок я чувствовал, что она презирает Флору Эшбертон и мою мать и что мисс Эшбертон боится ее, а мать относится к ней неприязненно.

Я бы очень хотел простить вас, Люсиль Бюколен, забыть хоть ненадолго о том, сколько зла вы сделали... постараюсь по крайней мере говорить о вас без раздражения.

Как-то раз тем же летом — а может быть, и следующим, ведь обстановка почти не менялась, и некоторые события в моей памяти могли смешаться — я забежал в гостиную за книгой, там уже сидела она. Я было собрался уйти, как вдруг она, обычно будто и не замечавшая меня, произнесла:

— Почему ты так быстро уходишь, Жером? Ты меня испугался?

С бьющимся сердцем я подошел к ней, заставил себя улыбнуться и протянуть ей руку, которую она уже не отпускала, а свободной ладонью гладила меня по щеке.

— Бедный мальчик мой, как дурно одевает тебя твоя мать!..

На мне была тогда плотная блуза, типа матроски, с большим воротником, который тетя принялась собирать с обеих сторон.

— Отложной воротник так не носят, его весь нужно расстегнуть! — сказала она, отрывая верхнюю пуговицу. — Ну вот, взгляни-ка на себя теперь! — И, достав зеркальце, она почти прижала меня к себе, ее обнаженная рука обвила мою шею, скользнула за полурасстегнутый ворот и после насмешливого вопроса, не боюсь ли я щекотки, стала опускаться все глубже и глубже... Я вскочил так стремительно, что моя блуза треснула по шву; с пылающим лицом я бросился вон из комнаты, услышав вдогонку: «Фу, какой глупый!» Я убежал в самый дальний конец сада и там, смочив платок в бочке с дождевой водой, прикладывая его ко лбу, тер им щеки, шею — все, чего коснулась рука этой женщины.

Бывали дни, когда с Люсиль Бюколен случались «приступы». Это начиналось внезапно, и в доме все сразу шло кувырком. Мисс Эшбертон торопилась куда-нибудь увести или чем-то занять детей; но ничто не могло заглушить ужасных криков, доносившихся из спальни или из гостиной. Дядя в смятении носился по коридорам, разыскивая то салфетки, то одеколон, то эфир; вечером, выходя к столу без тети, он выглядел очень озабоченным и постаревшим.

Когда приступы уже почти проходили, Люсиль Бюколен звала к себе детей, то есть Робера и Жюль-